

УДК 1(091)(470)
ББК 87.3(2)6-602
DOI: 10.46726/И.2020.4.21

В. П. Океанский, Ж. Л. Океанская

«СОФИЙНЫЕ СКАЗКИ»: ЛИВНЫ И ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

В статье представлен образ родины отца Сергея Булгакова, существенно определивший специфические особенности его интеллектуального наследия. Большое значение здесь имеют суггестивные образы царящей смерти и противостоящего ей женского начала, вплетённые в общую ткань церковного мировосприятия булгаковской семьи. Метафизически осмысленный опыт детства позволяет понять глубочайшую связь софиологических идей Булгакова и фундаментальной эсхатологии.

Ключевые слова: Родина, природа, красота, София, смерть, земля, небо, идиллия, эсхатология, ноосфера.

V. P. Okeanskiy, Zh. L. Okeanskaya

«SOPHIA FAIRY TALES»: LIVNY AND THE LOSTEN PARADISE

The article presents the image of father SergiyBulgakov's homeland, which significantly determined the specific features of his intellectual legacy. Suggestive images of the reigning death and the opposing feminine principle, woven into the general fabric of the church worldview of the Bulgakov family, are of great importance here. The metaphysically meaningful experience of childhood makes it possible to understand the deepest connection between Bulgakov's sophiological ideas and fundamental eschatology.

Key words: Homeland, nature, beauty, Sophia, death, earth, sky, idilliya, eschatology, noosphere.

Отец Сергей Булгаков в середине тридцатых годов XX столетия осуществил миссионерскую поездку в Америку и, по его воспоминаниям, «в течение вынужденного досуга» с «еврейскими путешественниками», «сидя на немецком пароходе "Европа"» под красным «флагом со свастикой» [2, с. 114], написал удивительное эссе «Моя родина», посвященное жене. Его родной город Ливны и связанный с ним природно-человеческий мир раскрыты здесь как символический топос изначального истощения райского бытия: как откровение о смерти и раскрытие Софии в человеческой родине, ибо «только там родина, где есть смерть; и потому последнее слово о родине — о смерти» [2, с. 23]. Танатологическая тематика становится здесь сладостным наитием... Вдохновенно вспоминается «няня, Елизавета, сказочница»: «Как она умела рассказывать сказки, страшные, фантастические... софийные» [2, с. 22]; воспроизводится общая обстановка жизни старинной священнической семьи, где граничили друг с другом элементы ужаса и блаженства.

Метафизическая проблематика нашего комментирующего размышления состоит в раскрытии «кармического» давления именно такого образа

родины на всю последующую структуру булгаковского наследия: от раннего аграрного экономизма — через философию словесности и культуры, имени и хозяйства — к постижению «трагедии философии» и «софиологическому» богословию. Важнейшим для понимания обстоятельством является тот очевидный факт, что Ливны для Булгакова — изначально не были непосредственно райским местом земли, но представляли собою именно тот идиллический топос, символическая энергетика которого всецело свидетельствовала именно об онтологической утрате рая, прежде всего через вошедшую в человеческую жизнь смерть, как и её многоплановые образы и дуновения...

«Есть предустановленное для каждого откровение Софии в его рождении и в его родине» [2, с. 7], — сразу указывает отец Сергей, намечая далее сближение идиллических и эсхатологических начал в образе натальной топки: «Земля была исполнена и освящена человеческими останками, как некое кладбище с позабытым и оставленным алтарём» [2, с. 8]; «Сколько здесь было рождений и смертей, — тоже алтарь предков. <...> ...помню много, много похорон» [2, с. 8]. Смерть — лучшее, что было; остальное — короткие и долгие пути к ней...

Интересно, что деревенская органическая витальность (пушкинские «сельские права», которых «не ведаёт Москва») оказывается в зоне роковой недоступности, пробуждающей тоску обитателя городского захолустья по недоступным прелестям сельской жизни: «Мы были горожане в самом дурном смысле слова. От города мы не имели ничего положительного, но были лишены и не знали никогда прелестей деревенской жизни, никогда не переживали сельско-хозяйственного года, пашни, косьбы, уборки урожая, ничего, ничего. Поистине, с варварским равнодушием и вместе безразличием бедности мы никогда не живали в деревне (на «даче») и — самое большее, — мне случалось провести в деревне два-три дня, причём я изнывал от бессонницы, от жары, от непривычных условий жизни, от блох. ... Я замечал, что мужики так равнодушны к природе, хотя сами составляют её часть; они относятся к ней или как корыстные хозяева, или как... звери (в хорошем и плохом смысле слова)» [2, с. 10]. На периферии же детского сознания всё же оставалась высокая топка усадебных идиллий: «угодья... полумифических аристократов... представлялись сказкою нам, бедным поповичам» [2, с. 10—11].

И однако же, именно ускользающая гераклитовская природа, которая «любит скрываться», очень рано и властно — земным зеркалом небесной софийности! — входит в детскую душу, пробуждая в ней глубочайшее метафизическое воображение: «Мы в природе и в нас природа. И может ли быть... её мало? Она являлась царственно, тихо и прекрасно и приносила поэзию душе, будила в ней её грёзы. Как царица София она являлась мне, вдохновляя и не объясняя, лаская и не устрашая, сокровенная в своей Красоте и прекрасная Ею. И детская душа навсегда услышала, узнала, возлюбила и отдалась этому видению. ... Наши Ливны были для меня Китежем» [2, с. 11].

Этот мир благословенной земли имел и свой сакральный центр: «...родина моей родины, её святыня, была Сергиевская церковь... Для нас она была чем-то столь же данным и само собой разумеющимся, как и вся эта природа... тихою и смиренною красотой. Она, очевидно, представляла собою остаток древнего стиля...» [2, с. 12].

Именно здесь отец Сергей Булгаков прозревает истоки софийности, ставшей центральной темой его неоправославного богосмыслия и сакральной космологии: «Я никогда не задумывался о том, почему здесь соединены Сергиево и Успение, — явное созвучие Троице-Сергию в Лавре. Я не знал и не понимал,

что это был столь же Софийный храм, как и Успенский собор в Лавре; я не знал тогда, что я получил имя, был крещён и духовно рождён в *Софийном* храме, причтён к лику служителя Софии Премудрости Божией Преп. Сергия. Я не знал, что все мои вдохновения, которым в будущем суждено было развиваться в целую богословскую систему, в корне своём были всеяны в душу Промыслом Божиим в этом умильном храме» [2, с. 12]; «...другие храмы, как даже, напр., Кладбищенский, где служил мой отец, были как бы не храмы, полу-храмы, лишь это был настоящий. В нём душа *дышала* красотой. Он весь был голубой, софийный... <...> ...храм сам пел» [2, с. 12].

В полном, вполне дионисическом, контрасте с элегическими и одическими настроениями появляются сатирические образы: «гнусавый дьячок, бедный с красным носом, вероятно от выпивания»; «бас “Степаныч”, пьяница, неизвестно как существовавший» [2, с. 12]; «пропитый голос», «запой»; «диакон тоже пил» [2, с. 13] — принадлежащие энергетике нижнего мира... Однако же, «...храм стоял над рекой, на высоте... жил и дышал одной жизнью с природой. Во время великого поста, с его печальными, строгими звонами, дивно соединялась музыка бегущих весенних ручьёв, шорохи и шумы ледохода, ширь весеннего разлива, а позже и пасхальная радость нежной трепетной весны»; «...свежеющие лунные вечера над рекой с площадки около храма... Да, здесь я принял в сердце откровение Софии...» [2, с. 13].

Далее же у Булгакова возвращается, точнее — продолжается и символически укрупняется, танатологическая тематика: «Но наша церковная эстетика включала и “кладбище”, т. е. кладбищенскую церковь моего отца, которая находилась на другом конце города...» [2, с. 13]. «С “кладбищем” соединяется у меня ещё и небесная музыка сфер: когда ночью, во втором часу ехали на санях в праздник Рождества Христова или Крещения, то небесный свод сиял своею славою. Звёзды горели и посылали в душу свои ангельские звуки...» [2, с. 14].

В тон же хомяковской метафизической лирике, где «звёзды светят словно Божьи очи» [9, с. 107], Булгаков, однако, воспроизводит славянофильские и почвеннические социальные интонации в оркестровке символической метафизики земли: «Вместе с церковью я воспринял в душу и народ русский... никогда я не был слеп и глух к страданию народному, к неравенству и обиженности» [2, с. 14]; «Я всегда был народником, потому что был народен от рождения. Больше ничего у нас не было в детстве из области “культуры”: ни музыки, ни другого искусства, которого так жаждала душа. Но она была полна, потому что всё дано было в церкви, истина через красоту и красота в истине. Здесь, в Софийном храме Успения, я родился и определился, как читатель Софии, Премудрости Божией... И здесь я определился как русский, сын своего народа и матери — русской земли, которую научился чувствовать и любить на этой горке преп. Сергия и на этом тихом смиренномудром кладбище. И по велению Божию конец своего жизненного пути совершаю под кровом Успения-Сергия, хотя и в стране далёкой, в земле чужой, без аромата бархаток и резеды в августовский вечер...» [2, с. 15].

Вполне софийна и сакральна родословная отца Сергия: «я родился и вырос... в семье православного священника, в атмосфере дома-храма, как будто продолжавшего собою храм. По своему происхождению от отца я — левит до 6-го колена (приблизительно до времени Иоанна Грозного, когда — возможно — захудалый боярский сын с явной примесью татарской крови, по обычаю того времени, вступал в духовное сословие). По матери, вероятно, происхожу от левитско-дворянского рода, со следами утончённости (и, может

быть, некоторой дегенерации). Мой отец был смиренный и скромный священник, 47 лет прослуживший в своей кладбищенской (бесприходной) церкви с каждодневным служением, на панихидные гроши вскормивший и воспитавший всю нашу семью» [2, с. 15—16] — удивительно здесь это чистосердечное указание на смерть как единственный источник питания булгаковской семьи; становится тогда объясним общий танатологический настрой и понятны одические интонации в адрес смерти, уже не столько забирающей, сколько хранящей и дарующей...

Но и особая пасхальная метафизика раскрыта в этом опыте детства: «Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озлащены были наши души этими небесными лучами, в них непрестанно струившимися... Пасха, когда мы не знаю где были: на небе или на земле» [2, с. 16]. «Словно хоровод небесных светил зажжены были в душе эти звёзды, и они не могли погаснуть даже во тьме безбожия...»; «...вся эта церковная, типиконская жизнь была обрамлена и связана с жизнью природы, которая в ней участвовала. Это был детский христианский “пантеизм”, софийное чувство жизни и мира. Это был простёртый над землёю свод небесный, навеки вечные вошедший в душу: небо и земля» [2, с. 16—17].

В эмоциональном контрасте с таким бытийным, софийно-космологическим, устройством души предстаёт у Булгакова бытовая и родовая план её укоренения: «...вся эта безмерная поэзия, радость озлащенной жизни соединялась с бытом прозаическим и суровым»; отмечаются «природная нервность, свойственная — в разной мере — и всем членам нашей семьи, особенно матери», «неудержимая склонность матери дарить, а для этого занимать (она была исключительно добра и в силу этого расточительна)»; «тяжёлые впечатления от “русской слабости”, нечуждой и нашему дому. Алкоголизм скопил две молодые жизни (моих братьев, по своему трогательных и благочестивых)... и только милостью Божьей и сам я спасся от этой гибели. Эти же заболевания моего отца, очевидно, унаследованы от предков...» [2, с. 17].

Указывая на многочисленных родных людей, Булгаков отмечает: «Все они... умерли в нашем доме» [2, с. 18], начиная с деда, который «был педагогом... до дна церковным»: «С его кончиной смерть впервые вошла в детское сознание...» [2, с. 18] — «дедушка говорил обо мне с порицанием: Булгаковская суровость. М. б., в последнем счёте это — татарская кровь» [2, с. 19]. И опять звучит мощнейший танатологический лейтмотив, переводящий элегическое начало в одическое и открывающий своеобразную софиологию похорон: «Хорошо в Ливнах хоронили: это прямо какой-то Египет. И прежде всего никакого страха перед смертью. С каким-то скорее радостным, важным чувством приходят родственники, а прежде всего, женщины обряжать покойника, молиться о нём, помогать на дому: особое вдохновение смерти входит в дом. А затем самые похороны в храме с несением по городу под погребальный перезвон колоколов, предание земле и почитание могилы, молитвенная память... Хорошо в Ливнах хоронят, и, если можно сказать про софийность и в похоронах, то скажу, софийно хоронят: печать вечности, торжество жизни, единение с природой: земля еси в землю отыдеш...» [2, с. 18]. В качестве религиозно-философской параллели этому вспоминается тезис В. В. Розанова «христианство есть культура похорон», столь впечатливший отца Георгия Флоровского [8, с. 460].

Между тем, в булгаковской автобиографической медитации указываются символические признаки софийности материнского начала, метафизически

противящегося подползающей смерти: «Мама была окрылённая», «при слабом её образовании... любила книгу и стихи»; её мировосприятие «можно было назвать поэзией жизни» [2, с. 19], «много курила» [2, с. 20]. «Старший брат Володя явился наиболее трагической жертвой наследственного алкоголизма. Он был прост сердцем, но неистов в страстях, алкоголь делал его безумным... Младший мой брат Миша, робкий и кроткий ребёнок... погиб от чахотки»: «Как ангел он был послан отряхнуть сокровище своей смерти в мою душу, пред тем как уйти из мира... Да, смерть была наша воспитательница в этом доме, как много было в нём смерти... в детстве смерть стояла к нам близко, никогда не отходя. Один за другим умерли два маленьких “Кузи” (в честь деда Косьмы Сергеевича). Мама не хотела уступить смерти, и после смерти одного Кузи наименовала тем же именем другого ребёнка, но умер и этот. Помню ночь с детским мёртвым телом в доме, и её плачь, ночные воюющие звуки... Это вкралось в сердце каким-то зовом и страхом и грозной памятью о вечности...» [2, с. 20—21].

От классической античности глубочайшее предписание оставил философам «божественный Платон» (так его проименовал Шопенгауэр): учиться философствовать — учиться умирать... Специфика же русской философии состоит в исходной апелляции именно к такой «освоенности с неизбежным», а потому «каждый человек, каждый простолюдин — философ, сам того не зная» [5, с. 302], — отмечал устами одного из героев повести «Исповедь мужа» наш «русский Ницше», К. Н. Леонтьев.

Ноосфера и смерть — в эту тему всегда будет упираться экзистенциально разбуженное сознание: поэтому «достоянье Достоевского» (так именовал новые поколения Андрей Вознесенский) — не проблема наступившей эпохи, но тема существа самого времени... Проблема прогорания времени — неоспоримое свидетельство невозможности ноосферного укоренения в мире как «скоропреходящем сновидении» и «скорооканчивающемся странствовании» [6, с. 790].

Для отца Сергея Булгакова она всегда стояла очень остро, будучи осмысленной прежде всего как тема неизбежного во времени страдания: «Если бы мы не были такие эгоисты, если бы мы не были заняты постоянно своими делами, то покой и счастье стали бы навсегда невозможны для нас. Стоит только открыть глаза и уши, прислушаться к голосам этого мира, мы услышим от всех времён и народов, от прошлого и настоящего нестерпимый стон, проклятия, жалобы, плач детей, мы почувствуем, что земля под нами пропитана кровью и весь этот мир и вся история есть одна мучительная трагедия. Мы не можем вынести и вместить этого сознания, мы слишком любим себя и свой покой, и только потому мы живём в относительном равновесии...» [3, с. 116—117] — так пишет он в статье «Венец терновый», посвящённой памяти Ф. М. Достоевского.

И прощаясь с миром своего детства, «на заре туманной юности», он фиксирует ту же тему смерти детей, оставшуюся для него существенной на всю земную жизнь: «...каждое утро этого трудного лета (я готовился к экзамену решавшему судьбу мою) начиналось для меня... этой мукой о подстреленном младенце»: «...самая тяжёлая рана была смерть Коли, прелестного, умного, одарённого мальчика в пятилетнем возрасте, общего любимца, с печатью херувима, предшественника нашего Ивашечки» [2, с. 21] — будущего сына отца Сергея, умершего после его рукоположения, в Крыму, названном здесь «второй родиной... также с ангелом смерти» [2, с. 23]...

Возвращаясь к образу земной родины, Булгаков восклицает: «Всё это — Ливны. Сокровище души моей. Капли небесной росы, которые падали в себялюбивое, но всё же не мёртвое сердце и, прожигая его, ложились в него бриллиантами. Сейчас кажется, что все они не для себя умерли, а для меня умирали, как какая-то жертва любви ко мне. И не явится ли за гранью земной жизни явью эта тайна любви...» [2, с. 21].

Отец Сергей, подытоживая свой опыт детства, проникновенно пишет о главном: «клик жизни нашей был суров и важен»: «ангел смерти неотступно стоял над нашим домом» [2, с. 21] — заметим, что это был мир, исходно отмеченный подлинной (!) философией, а не головными побрякушками...

Вместе с тем, Булгаковым особо отмечен впечатляющий кенотизм бытия и быта своих земляков: «Ливенцы жили... в великой бедности и убожестве. Это был город не крестьян, людей производительного труда, и не купцов, и не дворян, но мелких мещан»; «...никакой обеспеченности. Это было ниже, чем пролетарии, трясущееся приниженное существование...» [2, с. 22] — и однако сквозь всё это постепенно раскрываются Небесные Ливны и их до конца непостижимый на земле Сверхсмысл: «...какая-то смиренная простота, с которой несли своё существование, да кротость. Это то, что я унёс со своей родины» [2, с. 23]; «...моя родина есть прекрасный дар Божий... как первозданная улыбка Софии Божественной, которой она позвала, приласкала меня как младенца, и тихим, тихим шёпотом сказала мне своё имя. Этот шёпот был тих, и Царица была закутана в рубище поверх своей царственной ризы, но я полюбил её на всю жизнь, и всю жизнь искал встречи с ней, хотел узнать её имя» [2, с. 23]; «...ложные обманные следы для меня гасли вместе с видимыми красотами, и душа прозревала вечное и нездешнее. И теперь, на пороге иной, и новой жизни я возвращаюсь сердцем на эту мою родину и узнаю её Имя. Узнать его значит перейти в другой мир. Не увидеть мне Ливны в этой жизни» [2, с. 23].

Булгаков пишет эти строки уже в контексте своей софиология смерти, когда тяжкие болезни сразили его и обрекли на мучительные операции: «ангел смерти ещё раз приблизился ко мне» [2, с. 24] — однако суждено ему было и после этого на десяток лет вернуться к земному служению: учёным трудам, герменевтике Апокалипсиса и церковным молитвам...

В завершении необходимо сказать, что в целом софиология — это булгаковское учение о синергии Творца и твари, о мистической связи Бога и космоса; ис именем отца Сергея Булгакова (1871—1944) соотносят ту неоправославную линию в истории русской религиозной мысли, которая получила название софиологии, но была многократно осуждаема различными авторами за антропокосмический крен в ортодоксальном богословии: «Центральной проблемой софиологии, — писал сам Булгаков, — является вопрос об отношении Бога и мира, или — что по существу является тем же самым — Бога и человека... В софийном миропонимании лежит будущее Христианства. Софиология содержит в себе узел всех теоретических и практических проблем современной христианской догматики и аскетики. В полном смысле слова она является богословием Кризиса (суда) — но в смысле спасения, а не гибели. И в конце мы обращаемся к потерявшей свою душу, обессиленной обмирщением и язычеством культуре, к нашей исторической трагедии, которая кажется безвыходной. Исход может быть найден через обновление нашей веры в софийный, богочеловеческий смысл истории и творчества» [4, с. 104, 107].

Интересно, что критиковавший Булгакова крупнейший православный богослов XX века В. Н. Лосский, однако, писал своему протестантскому коллеге:

«софиологическая проблематика найдёт своё разрешение», «отец Сергей поставил правильные вопросы» [1, с. 230]. Остаётся именно проблема имманентности и трансцендентности Софии; и — в пику другому критику софиологии отца Сергея Е. Н. Трубецкому, согласно которому «София в понимании Булгакова божественной полнотой не обладает» [7, с. 126] — важна как раз её космологическая доступность в качестве лестницы преодоления тяжести мира на пути к Абсолюту. Кстати говоря, здесь софиология по-своему смыкается с ноосферной проблематикой... Но если последняя говорит в пользу прогрессистского оптимистического самоутверждения человечества на земле и в космосе — то первая даёт глубокие основания для метафизического оправдания пессимизма... Что в ближайшем и более отдалённом будущем окажется важнее? — на самом деле это выходит за пределы нашей с Вами научной компетенции.

Список литературы

1. *Бобринский, протопресвитер Борис*. Отец Сергей Булгаков. Тайнозритель Премудрости Божией // Два Булгакова. Разные судьбы / под ред. Ю. М. Осипова, Е. С. Зотовой: в 2 кн. Кн. 1: Сергей Николаевич. М.: МГУ; Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2002. 260 с.
2. *Булгаков, отец Сергей*. Автобиографические заметки (Посмертное издание). Париж: YMCA-PRESS, 1991. 165 с.
3. *Булгаков С. Н.* Венец терновый // Булгаков С. Н. Моя Родина. Избранное / сост. А. П. Олейникова, Л. А. Беляева, А. Ю. Максимов. Орёл: Изд-во Орловской государственной телерадиовещательной компании, 1996. 240 с.
4. *Булгаков С. Н.* Центральная проблема софиологии // Русские философы (конец XIX — середина XX века): антология. Вып. 1. М., 1993. С. 104—108.
5. *Леонтьев К. Н.* Исповедь мужа // Леонтьев К. Н. Египетский голубь: Роман, повести, воспоминания. М.: Современник, 1991. 528 с.
6. *Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский*. Творения: Аскетические опыты. М.: Лепта, 2001. 864 с.
7. *Трубецкой Е. Н.* Смысл жизни. М.: Книжный Клуб Книговек, 2015. 544 с.
8. *Флоровский Г. В.* Пути русского богословия. Париж: YMCA-PRESS, 1937. 574 с.
9. *Хомяков А. С.* Ночь // Хомяков А. С. Избранное. Тула: Приокское книжное издательство, 2004. 544 с.